

# Михаил Попов

## ОБОЛ

### Повесть

#### 1.

По имени его называли только в семье. А за пределами дома – по-разному, особенно в детстве-отрочестве.

Как-то обретались они – ватажка босоногих мальцов – под стенами старого города на берегу Силоамского пруда. Одни плавали наперегонки и дразнили тех, кто не решался зайти в воду, сидя на ступенях, что уходили вглубь. Двое мальчишек играли в авнин, передвигая по расчерченному на плите полю чёрные и белые камешки. А он сидел близ стены и поправлял изделие своих рук – игрушечную боевую колесницу.

Колёса были сделаны из старых медных монет, которые дал ему отец, дескать, они давно вышли из обращения. В монетах были отверстия. Он вставил в них медную шпильку от старой женской заколки. Тут-то и появилась затея – смастерить колесницу. Из прутиков сплёл короб, обмазал его внутри и снаружи глиной, а потом окунул в белила. Когда белила подсохли, он сам удивился своему изделию, так оно засияло. Труднее было прикрепить короб к оси. Но и тут смекалка помогла. Он использовал кусочки твёрдого терновника. В днище короба проделал два отверстия, просунул заготовки. Когда шипы упёрлись в дно, он свёл ось с комельками и в нужном месте проковырял сапожным шилом отверстия для оси. Вот так и получилась колесница. Колёса вращались. Короб для воина сиял белизной. Не хватало только воина и запряжки. Но на что человеку даётся воображение? Оно несётся быстрее колесницы, унося его вскачь к неизвестным пределам.

Дома он свою поделку никому не показывал. Особенно боялся отца. Отец говорил о завоевателях сквозь зубы и не терпел ничего, что принесли с собой римские солдаты.

Мимо, бряцая доспехами, проходили два легионера, которые несли караул на этом участке городской стены. Ромеи остановились против него, и один, который был постарше, велел показать, что он мастерит. Поделка солдата удивила. Он что-то сказал своему напарнику. Всё понять было трудно, но можно было догадаться, что эта игрушка наверняка понравится его маленькому родственнику, который живёт в столице. И более не говоря ни слова, ромей зачихал колесницу в свою походную суму и двинулся дальше.

Маленький иудей от неожиданности раскрыл рот, закричал и заплакал от обиды и возмущения. Ватажка мальцов, в том числе и выбравшиеся на берег, молча замерла в отдалении, боязливо прячась один за другого. Легионер остановился, медленно обернулся, оглядел холодным взглядом иудейскую мелкоту и усмехнулся. Страх надо внушать с детства, говорил весь его надменный вид, что больше предназначалось не для этих напуганных щенят, а для младшего сослуживца, дескать, вот так надо поступать с завоёванными подданными, дабы они сызмала не смели пикнуть, трепеща перед Римской империей. И преподав урок, тут же проявил снисхождение. Он извлёк что-то из сумы и кинул это что-то плачущему мальцу. Раздался глухой звон. В глазах напарника мелькнуло недоумение. «Нуми?» – усмехнулся он. Дескать, ты дал монету, те есть заплатил, а как же наше право?! На что старший бросил одно слово: «Обол». Бросил монету, следом одно слово и тем посчитал, что этого достаточно для объяснения своего поступка. Обол – самая мелкая монета в здешнем обиходе. А потом ещё что-то добавил про Харона. И легионеры, довольные, ухмыляясь и стуча твёрдыми подошвами, неспешно пошагали назначенным путём.

Малец поднял монету. Сверстники, до того не смевшие пикнуть, стали, перешёптываясь, подходить к нему. Постепенно оцепенение прошло, и, как это бывает после минут страха, началось оживление. От шёпота – к репликам, от реплик – к воплям. Дальше – больше. А когда он раскрыл ладонь, чтобы показать монету, все как шальные закричали: «Обол!». И в этом было что-то насмешливое, унижающее. Мало того, следом за криками раздались презрительные реплики, и уже кто-то стал тыкать в него пальцем и кричать «Обол!». Это его называли

Оболом, словно у него не было имени. Отчего? Ему мстили. Мстили за то, что он стал причиной их страха. «Обол!», «Обол!», «Обол!» – орали они на все лады.

Почему он не выбросил эту монету, не швырнул её в пруд? Может, тогда они перестали бы его дразнить, называть этим обидным прозвищем. Но как вышло – так вышло. И это прозвище ещё долго за ним держалось, пока его не сменило другое, которое ему дали после.

Это случилось на весенний праздник на Песах. Он оказался в торговых рядах близ Храма. Там шла бойкая торговля. Особенно охотно раскупали праздничные женские накидки. Торговцы запалились, явно не предвидя такой спрос, а иные из них срочно красили изделия в предместье.

Нашлось дело и ему, праздно шатающемуся подростку. «Хочешь заработать?» – остановил его какой-то малый в кожаном фартуке, разгорячённый жарой, того больше срочной работой, и, не дожидаясь ответа, мотнул головой, дескать, пошли. Вскоре они очутились в маленьком дворике, где дымилась уличная печурка, на которой стояла закопчённая медная лохань. Возле неё колготилась ветхая старушонка, видимо, хозяйка этого угла. Она кряхтела от натуги, ворочая в чане окорённой палкой, и время от времени поднимала на свет крашеные изделия. Тут был намешан самый яркий цвет Песаха – шарлаховый, почти апельсиновый. Красильщик перехватил у старухи палку-погонялку и принялся со свежей молодой силой гонять туда-сюда содержимое лохани. «А ты пока подкинь дров», – велел он новому работнику, но прежде посоветовал закатать рукава его подросткового – по колени – кетонета. От охапки кизилового хвороста печка пыхнула дымом, весело затрещала. Малый одобрительно кивнул, покрутил палкой ещё немного и остановился.

Тут старуха принесла из дома плетёную корзину. Красильщик, не мешкая, стал подцеплять той же палкой мокрые полотна и кидать их в эту самую плетенюху. Оранжевые струйки потекли по двору в разные стороны, словно разжиженная кровь жертвенного барашка.

Когда все изделия были извлечены, малый долил в лохань воды, потом сыпанул туда две горсти сухого порошка, а из плетёной бутылки добавил какой-то жидкости, по запаху,

похоже, яблочного уксуса. «Мешай», – приказал он работнику. Пока в лохани была только вода, гонять палку можно было одной рукой. Но вот красильщик вытащил из перемётной сумы, которую принёс с собой, ворох новых белых свитков, погрузил их в лохань, и мешать стало куда тяжелее.

Подросток, ещё не окрепший телесно, взялся за палку обеими руками и стал ворочать что было сил. Туда-сюда, туда-сюда. То по солнцу, то против него. От запашистого пара, который источало варево, его слегка подташнивало, потом закружилась голова. А команды остановиться не было. Руки от испарений потемнели. Пот застил глаза, и он время от времени смахивал его тыльной стороной ладони или сгибом локтя, касаясь лбом закатанного рукава.

Тем временем красильщик тоже не простаивал. Он отжимал крашенные полотна, затем встряхивал, поднимая брызги, в которых вспыхивали радуги, и аккуратно развешивал их на верёвки, растянутые поперёк дворика. Под весенним солнцем и тёплым ветерком, стекавшим с Елеонской горы, они подсыхали на лету, являя взору чистый рассветный цвет.

Развешав накидки, красильщик подкинул в печь хвороста и только после этого, видя, что работник совсем запалился, перехватил палку и отодвинул его в сторону. Тот без сил опустился на землю. Красильщик покосился на него и покровительственно усмехнулся.

Работа продолжалась до тех пор, пока перемётная сума с заготовками накидок не опустела. Юный работник к той поре совсем запалился. Его шатало, перед глазами плавали радужные круги. Его даже не обрадовал денарий, который дал ему за работу красильщик. До того утомился.

Что было дальше? Выйдя за дувал, он поискал глазами, где бы прилечь. Увидел невдалеке куст, пал под него и мгновенно забылся. Разбудило его солнце, бившее в глаза. Придя в себя, подросток первым делом решил, что надо умыться. Поблизости находился пруд Езекии, где росли миндальные деревья, в такую пору там обычно бывало безлюдно. Он отправился туда. Но, надо же такому случиться, на пруду в этот час оказалась компания сверстников, с которыми он учился в школе при Храме. Глянув на подошедшего, они изумлённо выпучили глаза, а потом

разразились диким хохотом. Отчего, спрашивается? А оттого, что он с ног до головы был заляпан краской – той самой шарлаховой. Его чёрные вьющиеся волосы, и лицо, и руки по локоть были в краске. Замарашка, пачкун, неряха, грязнуля – каких только оскорблений тут же не пало на него. Подростки, если они в стае, злы как волчата, которым надо утвердиться в своей силе и независимости. Здесь это было именно так. А оскорбление, которое с той поры стало его новой кличкой – звучало как «саккара», что по-арамейски означает «рыжий». Он стал Рыжим, хотя цветом волос ничем не отличался от прочих.

Следующее прозвище привязалось к нему уже в юности. Да как? Он завершал учёбу в Храмовой школе. Священники-учителя прочили ему хорошее будущее. Уже сам первосвященник Анна хвалил его. Дескать, твой отец Шимон – хороший чтец. У него превосходный голос. Твой голос высокий, благолепный, и, придёт срок, ты сменишь отца на кафедре. Тем паче что преуспеваешь по всем дисциплинам.

Лучше бы он этого не говорил. Где похвала – там и зависть. Ровесники – отпрыски зажиточных купцов и менял, богаче одетые и обутые, стали подтыкать его, называя чтецом. Казалось бы, что тут обидного? Но в устах завистника любая похвала выворачивается наизнанку. Слово «чтец» аукалось с прежним прозвищем «Рыжий». А уж когда с отцом случилась непоправимая беда и он вынужден был оставить храмовую кафедру, всё обострилось до предела... Подростком он, бывало, кидался в драку, если его оскорбляли. Но теперь он молчал, терпеливо снося насмешки. Они стали ничем по сравнению с бедой, которая постигла отца и всё семейство.

Случилось это осенью того года, когда в Иудее стал править новый префект. Резиденция его находилась в Кесарии, столице этой римской провинции. Близились зима. Часть легионов, которые составляли оккупационную армию, разместили в тамошних казармах. А остальных направили на зимние квартиры в Иерусалим. Они прошли путь походным маршем, дважды останавливаясь на ночёвку, сначала не доходя до Антипатриды, а потом в Иамнии. В Иерусалим легионы вошли под бой барабанов и звон литавр. Но не звуки напугали жителей города, к которым за годы завоевания они уже попривыкли. Правоверных иудеев

ужаснули и оскорбили стяги пришельцев, на которых сиял золотом лик Римского императора. По их вере, это было святотатство и глумление над святым городом, коим был Иерусалим.

Переговоры с легатами – военачальниками колонн – ни к чему не привели. С какой стати мы будем подчиняться вашим законам, если у нас есть свои, ответили те на увещевания священников. Поняв, что с вояками не договориться, Синедрион – верхушка Храма срочно собрал депутацию и отправил её в столицу. В числе нескольких десятков человек оказался и присяжный чтец Шимон. Как он, правоверный иудей, мог отказать от такого поручения?! Даже если бы ведал, что там стрясётся.

Резиденция префекта находилась во дворце давно почившего царя Ирода, волей которого был воздвигнут и этот дворец, и весь город Кесария, который быстро обрёл известность по всей Ойкумене как прекрасный порт.

Префект, человек средних лет, бывалый воин из сословия всадников, по вечерам сидел на балконе вместе с женой и любовался видом побережья и моря, которое простиралось до горизонта. А тут эта толпа иудейских просителей. Весь вид портят, раздражая своим присутствием. Аудиенцией префект их не удостоил. Этого ему только не хватало в самом начале здешней службы. Именно из-за излишней лояльности были отозваны все прежние правители. В глазах супруги префект увидел толику сострадания – она, любуясь далями и проходящими парусниками, время от времени искоса взглядывала на безмолвно стоящую за воротами толпу. Префект вызвал центуриона, который ведал охраной резиденции, и велел гнать этот сброд. Кованые ворота отворились, десяток солдат принялись щитами теснить просителей прочь. И тут те, которые стояли у ворот, как по команде, пали на плиты. Не зная, что делать дальше, легионеры вернулись назад, заперев за собой ворота. Префект рассвирепел. Неподчинение?! Рубить им головы! И уже не десяток, а целая когорта солдат выбежала за ворота. Центурион приказал обнажить короткие мечи и объявил упрямам, что в случае дальнейшего неповиновения каждый десятый лишится головы. Тогда правоверные иудеи, опять же все как один, обнажили свои шеи – руби!

Жена префекта не выдержала. Сославшись на головную боль, она ушла к себе. Префект был раздражён и не знал, что делать. Если прольётся кровь, об этом скоро донесут легату Сирии – его ближайшему начальнику, а там и до Рима докатится. «Жёсткость уместна, – напутствовал его император, – но не излишняя, не переходящая в жестокость. Хороший пастух стрижёт своих овец, но не сдирает с них шкуру».

Всю ночь пролежали просители на холодных плитах перед воротами дворца. Утром префект передал им через центуриона, что посылает гонца, и когда они, посланцы, вернутся в Иерусалим, штандарты с ликами цезаря будут уже убраны. Депутация выслушала это известие молча, но с плит не поднялась, пока обещанный гонец не выехал из дворца и не поскакал исполнять повеление.

Иерусалим своих посланцев встретил с поклонами – никаких шитых и крашенных изображений на улицах уже не было, но по этому поводу никто не ликовал. Дразнить оккупантов – себе дороже, заключили первосвященники. Только тихо помолились, да и то не в Храме – ключи от святилища находились у префекта и выдавались только по самым большим праздникам.

Шимон, чтец Храма, вернулся домой тихий и подавленный. Он сильно простудился, проведя ночь на холодных камнях. Начался жар. Потом стал донимать кашель. Кашель был таким жестоким, что, казалось, выворачивал всё нутро наизнанку. Домашние вздыхали и в страхе прятали друг от друга глаза. Думали уже, что глава семейства не поднимется. Но Вышней волей он выздоровел и поднялся. Правда, не без потерь. У него изменился голос. Звонкий и высокий голос, за который первосвященник Анна в своё время и пригласил его из провинции в Иерусалим служить в Храме, осел, осип, а потом затвердел и стал похож на перекаты камней в горном ручье. Такой голос для присяжной храмовой службы не годился. И Каифа, зять Анны, ставший главным первосвященником, удалил Шимона за штат. Анна при встрече с ним отводил глаза. Единственное, что он мог сделать, это приглашать чтеца на подмену, когда по главным праздникам служба идёт долго.

Перемену участи отца и отметили злые сверстники, наградив его сына новым прозвищем. От школы, слава Вышнему, его не отлучили, учитывая заслуги отца и его собственное прилежание. Но перемены задели всё семейство. Доходы пропали. Они перебрались на окраинугорода, где поселились в ветхом домишке близ синагоги, которую Храм определил Шимону для окормления. Приход был небольшой, доходы соответственные. Шимон, назначенный гаццаном, то есть старшим, экономил на всём. Он привлёк к службе сына. В Храме сын, стоя рядом, подавал отцу-чтецу свитки. А здесь они по очереди служили за четверых. Отец исполнял обязанности гаццана и чтеца, сын подавал свитки или, сменяя отца, читал. И только обязанности толкователя отец исполнял один, поскольку у сына не было на то знаний. Далеко укатилось иудейское яблоко от ветхозаветной яблони – Торы. Без перевода с библейского иврита на нынешний арамейский не разберёшь. Этим занимались метургемены – знатоки языков и переводчики Писания. Среди немногих был и его отец Шимон.

Жизнь понемногу устраивалась. Пришло даже небольшое облегчение. Старшую сестру Эсфирь взял в жёны виноградарь из Эммауса, ближнего от Иерусалима поселения. Но тут стряслась новая беда.

Префект Иудеи, посланец Рима, повелел строить в Иерусалиме водопровод. Не то чтобы его заботила судьба жителей города – у него были более важные причины, чем здоровье иудеев. В городе всюду стоял запах нечистот. Всякий раз он с отвращением приезжал сюда и воротил нос, видя по обочинам вонючие лужи. Жена его, побывав здесь однажды, едва не упала в обморок. После этого её тошнило даже от одного упоминания поездки в Иерусалим. Но главное было не это. Он ездил сюда только по большим праздникам, жена совсем не ездила, отказавшись сопровождать его. От дурного состояния городской среды страдали его воины. Им не хватало воды для питья и приготовления пищи, не говоря уже о принятом в метрополии регулярном омовении. Они постоянно болели, маясь желудками, то в одной, то в другой когорте случались смертельные исходы. Легионеры гибли без боя. На воинском кладбище



за городской стеной легло уже пятьдесят солдат – половина центурии.

Так продолжаться больше не могло. Нужен был акведук для сбора горной воды. Налогов для его сооружения не доставало. Что предпринял префект? Решив строить водопровод, он, не спрашивая мнения Синедриона, вскрыл корван – храмовую сокровищницу и эти средства употребил в дело. Первосвященники обомлели. В народе начался ропот, который постепенно перерос в возмущение и протест. Тысячи правоверных иудеев устремлялись за город, где разворачивалась стройка. Старший легат постоянно доносил в Кесарию, что протест может перерасти во всеобщий бунт. Префект, уже познавший упрямый характер иудеев и затаивший злобу после первой стычки с ними, ждал только повода, чтобы отомстить ослушникам. И когда пришёл очередной сигнал от легата, он отдал команду применить силу. Сотни воинов, переодетых в гражданскую одежду, окружили буйшевавшую толпу. Протестующим предложено было разойтись. Они не подчинились. Тогда раздалась боевая команда. Переодетые воины извлекли из-под одежды дубинки и принялись лупцевать налево и направо, не разбирая – мужчина, женщина, старик или подросток. Сотни людей были искалечены, десятки убиты. Среди погибших оказался и несчастный Шимон.

Отпевать отца выпало ему, сыну Шимона. В той маленькой синагоге на окраине Иерусалима он читал по мёртвому отцу каддиш – молитву, где ни разу не произносится слово «смерть». Ему вторили десять мужчин, которые, взывая к небу, кричали хором во всё горло, чтобы Вышний был милостив к покойному, – только такая громкая молитва могла достичь неба. То же было дома, а потом на месте упокоения, когда спеленатое тело погребли в пещере.

Пришла беда – за ней, как волк к кошаре, крадётсЯ другая. Так гласит еврейская мудрость. Не успела, кажется, затихнуть поминальная молитва, как соседняя пещерка тоже превратилась в кохим – погребальную нишу, – не вынесЯ гибели главы семейства, тихо угасла его жена.

Дом Шимона осиротел. Остались в нём он, восемнадцатилетний юноша, да его младшая сестра Руфь, которой было четырнадцать лет. В доме поселились горе и тоска. В отцовской

синагоге стал править новый гаццан. Он назначил другого чтеца, своего зятя. В Храме сироте места не нашлось, хотя на отпевании отца первосвященник Анна во всеуслышание сулил, что дети благочестивого Шимона в беде не останутся. Муж старшей сестры, виноградарь, принять под своё покровительство сирот-сродников отказался: дескать, у самих трое детей, семейство и без того едва сводит концы с концами, а налоги, которые требуют римские мытари, всё растут и растут. Что оставалось делать? По совету знающих людей он, сын Шимона, решил попытаться счастья в Кесарии. Там – порт, молодому человеку всегда можно найти работу, да и младшей сестре подыскать дело.

## 2.

Море они увидели, когда возница известил, что скоро конец пути. Оно лежало по левую руку. В утренних сумерках море показалось пустыней, какую они пересекали на пути из Хеврона в Вирсавию, когда отец брал его с собой. «Негев», – сказал отец. Он, сын Шимона, тогда ещё ребёнок, лишь кивнул, утомлённый дорогой. Так и здесь, уставший от поездки на медленных мулах, он лишь скосил взгляд на морскую пустыню и опять погрузился в забытье. Как добрались до Кесарии, он не заметил. На постоялом дворе они с сестрой едва доплелись до циновки и тотчас заснули, изнурённые дорогой.

Уже за полдень он отправился на поиски работы и вышел к порту. Море сверкало под солнцем и терялось где-то далеко в голубой дымке. Это было завораживающее зрелище – картина впервые увиденного необъятного моря. Но ещё удивительнее казалось то, что открывалось вблизи – порт. Огромная рукотворная подкова охватывала своими лапами часть моря. В узкий проход заходили с моря корабли и торговые суда. Они становились бортами к причальным стенкам. И тотчас начиналась разгрузка или погрузка. Десятки грузчиков устремлялись по трапам и сновали туда и обратно, словно муравьи. Всё это и впрямь походило на муравейник, потому что издали звуков не доносилось. Но чем ближе он подходил к порту, тем сильнее и явственнее становилось дыхание этого муравейника. Гремели цепи, скрипели уключины, плескали вёсла, стучали колёса повозок, ржали лошади, ревели ослы и мулы, доносились зычные

команды шкиперов и надсмотрщиков, свистки и звуки трещоток, свист бичей, погоняющих рабов...

После тихого и благопристойного Иерусалима, который оживлялся только по праздникам, да и то не выходя из дозволенных иудейскими обычаями и римскими законами берегов, здесь, в Кесарии, казалось, гремел гром небесный, да что гром – ад открылся, столь непривычно всё было для новичка.

«Хаммаль» – так называли его в порту. Он подумал, что это его новое прозвище. Но оказалось, что так по-арабски зовут всех, кто разгружает-загружает гребные и парусные суда. «Хаммаль» – значит грузчик. Арабов в порту было много, вот всех грузчиков так и называли – «хаммаль». Они все казались на одно лицо и одеты были одинаково: тряпица, обёрнутая вокруг головы, и набедренная повязка. И всё же постепенно выявлялись и особенности. По именам звали только старших – десятников. А если надо было окликнуть кого-то персонально, добавляли какую-нибудь внешнюю приметку. Его называли Харуф – что-то вроде нестриженого барашка – такие у него были курчавые волосы. Прозвище вызвало у него протест. На следующее утро он пришёл на причал наголо бритый. И... опростоволосился. Теперь, по представлению здешних острословов, он, конечно, не походил на курчавого барашка – стриженный, он стал ни больше ни меньше «имра» – жертвенный агнец. Вот это и стало его прозвищем. «Имра» и «Имра», – раздавалось то здесь, то там, и если он не слишком проворно исполнял приказания – тащить этот куль или ту плетёную корзину, – получал подзатыльник, а то и удар бамбуковой тростью – шкиперы не очень церемонились с грузчиками, особенно новенькими.

От палубы до склада было недалеко – сорок-пятьдесят локтей. Но ведь их надо пройти с немалым грузом – ведёрной амфорой, или кулём фасоли – да не пошатнуться на зыбком трапе, да внутри склада дойти до нужного места, и – добро, если корзину надо опустить на пол, а если её место под самым потолком, а наверху приёмщика-грузчика нет...

Скоро он и впрямь почувствовал себя «имрой» – жертвенным агнем, которого перемалывают челюсти порта. Именно так – не подковой, а огромной челюстью невиданного животного

представлялся теперь ему порт. Руки его были исцарапаны, плечи и спина горели от ссадин, но особенно томилась душа.

После третьего дня работы, угнетённый физически и морально, он решил бросить это место. Сил, казалось, больше не было. Выйдя за ворота склада, куда весь день таскал кули с чечевицей, он, опершись о створ, остановился. Смежный склад был уже закрыт. И тут он увидел чудо. В узком пространстве меж складских ворот, лишённый света, зеленел колосок. Зерно попало меж плит и проросло. Это маленькое чудо наполнило его, «Имру», робкой надеждой. Он опустился перед колоском на колени и взмолился. Работа здесь тяжёлая, условия рабские – гоняют, хлещут, да ещё эти насмешки. Но с другой стороны – здесь есть сытная дневная похлёбка, а под вечер выдают секель, и он может купить на него еды и порадовать сестру какой-нибудь недорогой сладью. И ещё одно легло на душу: на монете, которую он получил за работу, был изображён пучок колосьев...

День четвёртый принёс неожиданность. В короткий обеденный перерыв его поманил складской служитель из ромеев, сухопарый, коротко стриженный и, как все они, бритый. «Ты, я видел, вчера молился и загибал пальцы... Знаешь счёт?». «Да, господин». «Зайди ко мне вечером – проверю».

Проверку способностей молодой человек прошёл успешно. Со следующего дня он стал учётчиком. Стоя на пирсе у трапа, на первых порах рядом со складским служителем, он отмечал на папирусном листе число снесённых на берег джутовых кулей с рисом, фасолью или бобами; бочонков с оливковым маслом или вином, плетёных коробов с пряностями... Видя, что работник с порученным делом справляется, складской надсмотрщик оставил его, доверив вести учёт самостоятельно. И он не подвёл своего благодетеля, хотя злоязыкие грузчики то и дело сбивали его со счёта, бросая на ходу обидное прозвище.

Прозвище – что муха. Конечно, муха назойлива, да не вечна, зудела-зудела – да и сдуло. Его больше занимало другое. Не преступил ли он негласный закон иудеев, запрещающий сотрудничать с оккупантами. Одно дело – на тяжёлой работе, другое – в помощниках ромея-чиновника, пусть и малого ранга.

Ведь если нарушишь тот неписанный закон, соплеменники отвергнут тебя, и ты станешь изгоем.

К концу дня он получил два секеля, то есть вдвое больше, чем за работу грузчика. Это его озадачило. День на третий, когда ромей-кладовщик подал ему снова два секеля, он заключил, что это правило. Вспомнился денарий, который ему отвалил за работу хмельной красильщик – столько он не получал ни в Храме, когда помогал отцу, ни в синагоге, выполняя обязанности чтеца. Стало быть, у ромеев знания ценятся выше, чем физическая работа. Грузчиков много, а знающих толк в грамоте наперечёт. Потому их способности и оцениваются выше. Разве это не справедливо?! А чтобы затвердить для себя это правило, точнее сказать уже закон, один секель из двух он зашил в уголок долгого пояса. При этом произнёс благодарственную молитву. Не за секель как монету, а за открытие нового для себя закона. Завершив это важное дело, он попутно ощупал и другой конец пояса. Там у него была зашита другая памятка. Это был обол, который ему когда-то швырнул надменный легионер. Зачем он хранил этот знак обиды и унижения? Затем, чтобы не забывать.

Однажды на складе случилась пропажа. Так это оценил ромей-кладовщик. Сводки доставленного товара не сходились с записями, что вёл учётчик. Недоставало двух кулей риса. В обеденный перерыв, мигом опустошив плошку с чечевичной похлёбкой, молодой учётчик испросил у кладовщика разрешения осмотреть полки. «Валяй», – благодушно кивнул тот, он был занят свинными рёбрышками. Что дал поиск? Кули не пропали. Просто они оказались не на своём месте: один – в смежном отсеке, где были похожие кули с фасолью, другой провалился сквозь щель в настиле полки, только и всего. Но ромей-кладовщик находки молодого и сметливого иудея расценил очень высоко, причём не только словами. Он пожаловал монету, которую тот прежде никогда не видел, и важно пояснил, что это серебряный сестерций. Разглядывая вечером монету, на которой был изображён профиль римского императора, молодой иудей испытывал противоречивые чувства. Любое человеческое изображение было чуждо его вере. А тем более изображение главного работодателя его бедного народа. Но с другой стороны, эта монета давала возможность немного улучшить условия существования:

жить в приличном постоянном дворе, купить сестре новую накидку, себе сандалии... Эти размышления занимали его больше всего. И лишь на окрайке сознания шевелилась, как зародыш змейки, ещё одна мыслишка, точнее даже не мыслишка, а сомнение: не слишком ли высокая плата за то пустяковое открытие? И не специально ли была подстроена та «пропажа»? Зачем – другой вопрос. Может, проверить? Или приручить?

Потом случилось ещё одно открытие. Ромей-благодетель оставил его после работы. Днём он в светлом хитоне сидел большей частью на пирсе под просторным парусинным зонтом, где у него был стол и стул. Отсюда он следил за погрузкой-разгрузкой. В его ведении находился десяток складов, отсюда он подавал команды и отдавал слуге-рабу распоряжения. Но его он зазвал в свою конторку, она находилась в одном из складов и представляла собой выгородку в дальнем углу. Это хорошо, что разговор будет не на виду. Стало быть, ромей понимает озабоченность иудея, который стережётся пасть в глазах соплеменников. Приглашённый хозяином, он сел за стол, но от вина отказался – запрет покойного отца. Ромей выжидательно посмотрел на него, но настаивать не стал, предложил апельсиновый сок и повёл рукой, дескать, угощайся. Тут были неуместные для иудея угощения, но было и то, что он отведал: оливки, финики, козий сыр... Ромей, попивавший рубиновое вино, был благодушен и разговорчив. Его звали Кэмиллус. Он впервые открыл своё имя и весело сообщил, что имя его совпадает с его должностью, потому что означает «хранитель». И сразу перешёл к имени сотрапезника. Он знал прозвища, которые прилепили молодому иудею грузчики. И из двух выбрал первое – Харуф, ведь волосы у него отросли, снова закучерявились, и он снова стал походить на нестриженого барашка. Так со смехом, поглаживая короткую чёлку, он пояснял свой выбор. И всё ещё улыбаясь, перешёл к тому, зачем позвал.

Речь шла о запретных в Римской империи товарах. Каких? Прежде всего, о всяких дурманах – гашише, опиум... «Ладно, если этими зельями пользуются обитатели колоний, – тут он сделал выжидательную паузу, наблюдая за молодым иудеем. – Худо, когда отраву потребляют страторы – римские солдаты. Какие из них после этого воины?!». Тут ромей опять замолчал,

но на сей раз, чтобы снова налить вина. «Сюда, в Кесарию, всякую дурь тоже тайно доставляют. Надо эту заразу пресекать. Это задача общая – и наша, римской администрации, и ваша, коренных жителей». И неожиданно помянул покойного отца, дескать, наверняка он упреждал своего юного сына избегать этого дурного соблазна и не принимать дурманных зелий даже под страхом смерти. Иудей кивнул: да, так и было. «Вот, – обрадовался ромей. – Тут мы единомышленники. И если ты сможешь выявлять злодеев, которые сеют на твоей земле заразу, ты исполнишь волю твоего отца, одного из самых благоверных, насколько я понимаю, иудеев». Поминание отца, да ещё столь высоким словом, наполнило сердце сына теплом. Он благодарно кивнул. А ромей, заключив, что он соглашается помогать, обласкал словом и сына. Проворный, сметливый, внимательный – кому же тогда выявлять зло, как не ему?..

Шепотки и поглядки грузчиков, реплики шкиперов и надсмотрщиков молодой учётчик примечал и раньше, выделяя из общего шума порта. Но теперь они были поводом для догадок и умозаключений. Три грузчика о чём-то спорят, но переговариваются как-то вяло и, скорее всего, о пустяках. Тот египетский шкипер кого-то выглядывает, окидывая взглядом туда-сюда причальные территории. Надо понаблюдать, кого он выискивает. А ещё – за тем десятником, который покрикивает на свою артель и одновременно о чём-то переговаривается с надсмотрщиком галерных рабов. Широко расставленные глаза дают хороший обзор. Это его природное преимущество. Боковым зрением можно увидеть куда больше. И молодой иудей пользуется этим, не упуская из внимания главную свою обязанность – учёт товаров. Нет, шкипер интереса не представляет: он послал в припортовую лавку мальчика-негра, тот притащил полную корзину провианту, но чего-то, видать, забыл и за это получил подзатыльник. А вот десятник, пожалуй, не прост. Командуя погрузкой, словом и жестом показывая на товар, он сунул очередному грузчику что-то за край набедренной повязки, это что-то было получено, видимо, от надсмотрщика. Сердце всколыхнулось. Теперь всё внимание на того чёрного, костистого хаммалю. Вот он поднялся по трапу на причал. На левом плече у него амфора. Почти не выбиваясь из общей череды, он немного смещается

вправо. Там в четыре ряда натянутые канаты, которыми участок погрузки отделён от прибывших за товаром повозок. Ближе всех к ограждению – осёл с перемётными сумами. Левая сума распахнута. Короткий взмах руки – и небольшой свёрток, миновав канаты, скрылся в кожаной утробе. Сума обычная, упряжь тоже, но острый взгляд учёчика всё-таки кое-что примечает: на правом ухе осла метка – белое, величиной с обол, пятно.

Что дальше? Докладить об увиденном кладовщику? Но тот, как назло, сейчас внутри склада, а ему, учёчику, отлучаться нельзя. Ждать перерыва? Но тогда осла с тайным товаром уведут из порта. Крикнуть и остановить погрузку, но это значит – открыться и навлечь на себя беду: не нынче, так завтра тебя подстерегут где-нибудь в потёмках и перережут горло. А кого устроит такой конец, даже если ты «харуф» – маленький нестриженный ягнёнок?!

Молодой иудей поступил иначе. Осёл с меткой – не песчинка в море. Кесария куда меньше Иерусалима. К тому же в ней нет ни трущоб, ни каких-то потаённых уголков – царь Ирод выстроил город по образцу новых кварталов Рима: улицы прямые как стрелы. Знай шагай из конца в конец да поглядывай по сторонам, пока не упруешься в крепостную стену.

Свои поиски начинающий следопыт начал с раннего утра, когда только рассвело. В припортовой части города делать было нечего. Там находились дворец Ирода, теперь занятый префектом, храм Августа, ипподром, дома легатов и солдатские казармы. Там ослов не держат. Начал со своей окраины, ближних улиц, где было немало постоянных дворов. Сторожам, которые подозрительно поглядывали на юнца, чего это он плянется за дувалы, объяснял, что ищет сбежавшего ишака. То же самое повторил повстречавшемуся армейскому патрулю, при этом сморщил жалобно лицо и показал коросты и ссадины на плечах, дескать, хозяин за пропажу зловредной животины бьёт его смертным боем.

Вечером, уже после ежедневной работы, на свои поиски он взял сестру. Так было меньше подозрений, к тому же Руфь, которой он велел слегка прикрыть лицо, отвлекала внимание, а у него, брата, расширялся при этом обзор поиска. Осла в тот раз они не нашли. Зато он приметил, что Руфь привлекает внимание



не только его ровесников или молодых мужчин, но и бородатых отцов семейства, они щурятся или цокают языком.

Так, обходя подворье за подворьем, квартал за кварталом, улицу за улицей, утром в одиночку, вечером с сестрой, он нашёл-таки что искал. Ишак с белой меткой на правом ухе обнаружился возле дома на одной из срединных улиц, в конце её, совсем рядом с крепостной стеной. Это был обычный, ничем не приметный дом, где, как удалось выяснить, жил чеканщик из Аравии.

В утрах тот ишак снова оказался на причале. Молодой иудей, собиравшийся заступить на свой пост, решение тотчас переменял. Собираясь просто доложить, что возможное место нашёл, он теперь с ходу предложил проследить путь осла. Возможно, запрещённый товар он возит и в другие места. Начальник покровительственно потрепал его по кудрям: «Ай да Харуф!». Не каждый день попадаются такие сметливые молодые люди. С работы, понятно дело, отпустил. А напоследок посоветовал чаще менять облачение, чтобы не примелькаться, и протянул кошель с монетами.

У него появился азарт. Выработалась мягкая охотничья походка. И результаты не замедлили. За несколько дней наблюдений сметливому иудею, который представал то разносчиком воды, то возчиком лёгкой поклажи, то скороходом, удалось выявить целую цепочку перекупщиков и потребителей гашиша, неприметных ремесленников, купцов, мелких портовых чиновников. Чтобы не потерять их из виду, он на клочках папируса рисовал приметы домов, а ещё на дувалах делал пометки, черкнув кирпичом крест.

Дальнейшую судьбу этих греховников решали римские власти. Он этим особенно не интересовался. Знал только, что всех их арестовали. Фелюги, на которых привозили запретную отраву, тоже были задержаны. Слышал, что кто-то отделался штрафом, кто-то частью имущества, а кто-то попал в тюрьму и даже на каторгу.

Его больше занимала собственная судьба. Что будет с ним, с родной сестрой? Его тайную службу никто, кажется, не заметил – для хаммалей, корабельщиков и купцов он оставался Харуфом – тем же несмышлёным барашком. А для ромеев?

Неужели не оценят его способности? Неужели он так и останется учётчиком? Подмывало обратиться напрямую к Кэмиллусу. Но он сдерживал себя. Терпение, терпение и терпение – вот что он усвоил за недели своей тайной охоты. Только терпение даёт плоды и результаты. Так и получилось. Кэмиллус сам кликнул его, вновь зазвав в свою потайную конторку. На сей раз ромей открылся, что служит в тайной страже, выполняя обязанности таможенного и пограничного офицера, а эта складская должность – всего лишь прикрытие. И открыв подлинное своё лицо, сообщил, что способностями молодого иудея заинтересовалась верхушка колониальной администрации.

И тут случилось то, чего больше всего опасался молодой иудей. Ему предложили перейти на тайную службу и подписать соответствующий документ. Будь это наедине с Кэмиллусом, который был в меру напорист и одновременно деликатен, он, поколебавшись, может, и согласился бы. Но легат – старший воинский начальник гарнизона Кесарии – был не таков. Медный лицом, которое казалось частью его доспехов, надменный и спесивый, он не скрывал презрения и брезгливости, когда обращался к молодому иноплеменнику. Это больно задевало того. Он переводил взгляд на Кэмиллуса, ища поддержки, защиты, но тот, сам зависимый от своего начальника, только супился да отводил глаза. Сердце молодого иудея трепетало, как птица, попавшая в силки. Сказать «да» он не желал. Сказать «нет» боялся. Что было делать? Всё решило конкретное предложение: надо возвратиться в Иерусалим, пристроиться на любую должность в обслуге Храма и тайно докладывать обо всём, что он там увидит и услышит... И тут он наконец выдал: нет.

Дальше было унизительно и даже больно: хлыст у легата был упругий, а рука тяжёлая.

На постоянный двор он вернулся уже за полночь. Сестра встретила его со слезами. Она думала, что случилась какая-то беда. Беда случилась. Но признаваться в этом он не стал, щадя её ещё детское сердце.

Следующий день утешения не принёс. В работе ему отказали. «Сам виноват, что не согласился», – сухо сказал Кэмиллус. И добавил, что в порту отныне работы ему не будет. Куда исчезло его недавнее добродушие?!

Денег, что удалось отложить за прошедшие недели, было немного. Снова пришлось перебираться в самый дешёвый постоянный двор, урезать все расходы, тратясь только на еду.

В поисках работы он день за днём обходил город. Случайные заработки мало помогали, а постоянной работы никто не давал.

Однажды он оказался возле северных ворот. Ноги вынесли его за городскую стену. И тут перед ним отворилась морская ширь. Он уже месяц обретался возле моря, а к морской воде ни разу не прикасался. Забыв на миг свои беды, он устремился к берегу. Но не напрямик, а вкось, подальше от высокой стены мола, потому что возле неё покачивались сторожевые триремы, по бортам которых стояли грозные воины.

Волны накатывали на песчаный берег с шумом и хлопанием, похожим на удары бичей. Однако вода была мягкая и тёплая и напомнила руки матушки, когда она гладила его кудри, отчего на глаза накатила тихая грусть. Умывшись приливной водой, он подобрал кусок отполированного волнами дерева, видимо, обломок галеры или рыбацкой фелюги, и отошёл от берега на кромку масличной рощи. Вглубь он не пошёл, а сел, прислонившись спиной к тёплому стволу. Он глядел на море и думал о своей участи. Как быть? Смириться и пойти в услужение к ромеям? Но как же неписанный закон соплеменников? Служить оккупантам, значит, стать предателем, а тем более наушничать, выдавая тайны своего народа, то есть стать вдвойне предателем. Если это станет известно Иерусалиму, его не просто отвергнут, его забьют камнями и прах бросят гиенам. А не согласиться на это, значит, околеть с голоду...

Перед глазами что-то мельтешило. Далёкий парус? Нет, это происходило вблизи. На тонкой паутинке, как на канате, раскачивались два паука. Один был крупнее, позади него висела опутанная муха, лапка её ещё дрыгалась. Удачная охота, наверное, придавала пауку уверенности. А его сопернику вид этой спеленатой мухи, скорее всего, внушал страх, если таковой был в их природе. Хозяин положения поводил передними лапками, словно очищая их от мушиной слизи, и одновременно будто околдовывал соперника, сбивая с толку. Да, он был крупнее и опытнее. Лёгкий порыв ветерка – он стремительно бросился вперёд, парализовал соперника уколом, чуть помешкал, словно

торжествуя победу, и уже деловито стал пеленать того своей паутиной.

Картинка эта не понравилась юноше, он поднял сухую ветку и ударил ею по паутине. И ветка, и пауки – живой и пойманный, и спеленатая муха полетели в сторону моря, ближе к прибою. А он лёг на землю и незаметно задремал.

Приснился ему сон. Будто идёт он к лавочнику, у которого несколько раз покупал мамалыгу. Идёт не один, а ведёт за руку сестру. Руфь плачет, но не противится. Она знает, зачем брат ведёт её. Он уже давал это понять. Лавочник, лысый и без двух передних зубов, прикрывает рот двумя пальцами, словно требует молчания. Глаза его маслятятся. Руфь остаётся с лавочником, а он, брат, уходит прочь, унося с собой корзину еды. Только напоследок ласково целует сестру, чувствуя на губах вкус соли.

С солью на губах он и проснулся. Это были его собственные слёзы. Стыд, недоумение и боль. Чего больше? Всего. А ещё упрёк сестре. Когда это он ей давал понять, что может быть такой крайний случай?!

Он даже вскочил. Не просто перевернулся на бок и поднялся, а вскочил, возмущённый этим укором. И сам же осадил себя: а, должно быть, тогда, когда явился этот приговор «на крайний случай»...

Он застонал, как стонет от зубной боли, только отчаяннее. Как же так вышло? Была семья – отец, мать, две сестры, он. Был дом. Был достаток. А теперь ничего. Почти ничего. Ни отца, ни матери, ни дома. И они с сестрой сироты и нищие. Кто же довёл их до этого? Кто всё погубил? Ядовитыми пятнами на крашеном полотне стали проступать лица. И соплеменники, и ромеи. И свои, и порабитители. И свои нередко оказывались не лучше чужих, хотя и прятали свою суть за благостно-смирненными улыбками. Вот Каиафа. Это ведь он отстранил от Храма отца. А до того вместе с Анной, своим тестем, назначил в депутацию к префекту, где отец простудился. А потом они всем Синедрионом наущали правоверных идти на гору, чтобы остановить стройку акведука, и там стряслась беда... Кто в том виноват? Все. И те озверевшие солдаты, которые забили отца... И тот меднорожий легат, который хлестал его, сына Шимона... И префект, который отдал приказ прочить непокорных иудеев... Все.

Он схватил кусок задубелого дерева, что вытащил из воды, и стал хлестать им направо и налево, словно персидской саблей. По стволам, как по туловищам. По ветвям, как по рукам. Это тому меднорожему... Это префекту... Это их императору. И Каиафа тут подвернулся под руку. И его лукавец тесть. И другие первосвященники...

И тут он остановился. Если все они лукавцы, притворщики, лицемеры, за что перед ними преклоняться?! Эта мысль, такая простая и точная, пришла впервые. Они не достойны того, чтобы их почитали. Надо только виду не показывать.

Это открытие он сделал самостоятельно. И оно так охватило его – аж озноб пронизал. Сердце его на миг остановилось, словно обледенело, потом очнулось и снова застучало. Но теперь, догадался он, уже по-новому.

### 3.

Новый пояс он носил только по праздникам – на Песах, на Пурим... А в будни опоясывался старым, хотя он уже поизносился и стал коротковат для его раздавленной телесности. В этом поясе была заключена память, связывавшая его с отрочеством, юностью, с родителями, с домом. А ещё этот пояс не давал забыть о чужой зависимости, в которую попал его народ. И свидетельством унижения и обиды была зашитая в пояс монета – обол, который швырнул ему в детстве пришелец, топтавший своими стопами его порабощённую родину.

В поясе были защиты две монеты. Одну, серебряный сестерций, он вынужден был выпороть, когда пришёл «крайний случай». А с оболом не расставался, и чем дальше, тем важнее становилась для него эта память.

На предстоящую встречу он оделся не броско, надев неприметный кетонет и опоясался именно старым поясом. Это, как со временем стало представляться, был не только памятный знак, но и его оберег, его тайный талисман. Словно горькая память, воплощённая в зашитом оболе, отводила от него напасти и беды и давала свежие силы.

Прежде чем отправиться на оговорённую встречу, он наведался в свою конторку. Здесь у него была меняльная лавочка и стол для написания и совершения купчих. Располагалась конторка в ромейской части Кесарии. Горожане здесь были редкими

посетителями. Зато захаживали легионеры, которым предстоял отпуск в метрополию, а также чужеземные купцы, которые справлялись о денежных курсах и запасались здесь разменной монетой.

Почему именно это поприще досталось ему в удел? Так получилось, уклончиво отвечал он, когда спрашивали. Точно сами не могли догадаться?! Грамотный человек либо считает, либо пишет – одно из двух. А то, что он свой выбор до конца не сделал, говорит лишь об особенностях его характера. Эту реплику он ронял с непроницаемым видом. Кто-то в ответ понимающе улыбался, кто-то озадаченно молчал. Но ни те, ни другие не догадывались об истинных причинах...

На столе лежали два папируса. Слева – график отпусков старших армейских чинов, справа – сводка ожидаемых торговых судов из египетской Александрии и греческого Пирея. Он особо выделил несколько имён на левом свитке и несколько наименований судов на правом. Эти пометки предназначались для подменщика, который будет заниматься обменом и сделками в его отсутствие. Он уже не сомневался, что предстоит очередная командировка. Коли вызывают на встречу, стало быть, есть задание. И, может, надолго.

Корпус, в котором была назначена встреча, находился в тех же армейских рядах. Вход с улицы был отделён железной оградой, возле которой на часах стояли два легионера. Этот путь ему был заказан. Он обошёл здание кругом, осмотрелся, нырнул в густую зелень и по узенькой тропке между тесно посаженными оливами достиг потаённой двери. Снаружи никого не было. Стража находилась внутри. Он показал условный знак. Один из охранников приказал следовать за собой.

В палате без дверей, отделённой только аркой, находился военный. Он сидел за круглым столом и что-то писал. Шлем его лежал слева, меч справа.

– Не признал? – раздался голос. Это был Кэмиллус, его давний покровитель. Он впервые видел его в военном облачении, потому и замешкался. – Я сам себя не узнаю, – Кэмиллус показал на отражение и тут же справился: – Ну, и как?

Военная амуниция в отличие от просторных хитонов делала его стройным и собранным. Чувствовалось, эта разница

ему самому нравится. Что тут было говорить? В знак одобрения пришедший поднял по-ромейски правую руку.

– Заканчиваю доклад, – объяснил Кэмиллус, он поднял стило – писчую тростину, огладил другой рукой свою короткую чёлку и показал на столик с водой и фруктами, дескать, проходите-садись. Глаза на свету у него были голубые-голубые.

Глядя на ромея, склонившегося над докладом, пришедший заключил, что тот похож на какого-то императора, изображённого на монетах. Тут же подумал о себе: а он, интересно, каким меня видит? Представил себя со стороны. Кудрявая голова, такая же чёрная – только мелкими кольцами – борода, крупный – это в отца – нос. От его детского облика ничего уже не осталось. Да что детского! – Эсфирь, старшая сестра, приехавшая с мужем торговать вином, прошла мимо, пока не окликнул. А ведь минуло всего пять лет... И отец бы, наверное, не узнал. А уж если бы узнал, где он служит, верно, и не признал бы...

Он снова перевёл взгляд на Кэмиллуса. Пять лет минуло с их первой встречи. Случай или провидение, но они оказались в одной житейской связке. Старшего здешней сыскной центурии отозвали в Рим. На его место был поставлен Кэмиллус, которого повысили и в звании: он стал центурионом – сотником. И вот едва ли не первое, что он сделал, заступив на службу, разыскал его, Фаруха. К той поре иудеи скорее опять походил на имру – жертвенного барашка, до того обнищал и оголодал. Так тогда и окликнул его Камиллус, назвав Имрой. Вырвалось, видимо, помимо воли, такой он был худой, чумазый и жалкий. Не лучше выглядела и его сестра Руфь. Ещё бы день-другой, и наступил край. И тогда сон в масличной роще мог обернуться явью.

Кэмиллус накормил их, пристроил под крышу, приодел. Руфь от свалившегося на них счастья плакала. Да и у него, Имры, тогда глаза были на мокром месте. Он был готов на всё, что скажет и прикажет покровитель.

Всё сложилось как-то само собой. Им, ромею и иудею, не понадобилось долго обсуждать прошедшее и предстоящее, тем более подписывать какие-то обязательства. В этом не было нужды. При всей кажущейся несовместимости их интересов они уже без слов понимали друг друга и дорожили этим пониманием. И тайная служба его, иудея, стала естественным продолжением этого союза.

Кэмиллус был ведущим в этом союзе. Он, Имра, во всём следовал ему, ни разу с тех пор не пожалев. И дом, в котором они поселились с сестрой на казённый кошт, и эта меняльная контора, созданная для прикрытия, – это всё воплощения Кэмиллуса. И даже потаённое имя – Имра – тоже предложение Кэмиллуса, которое он принял как должное.

– Ну-ка послушай, – Кэмиллус оторвался от доклада. – Я вставил несколько строк о Храме. Как они будут на слух сына храмового чтеца, который тоже был чтецом. – И принялся читать: «Секта фарисеев наиболее многочисленная. Они – первые толкователи иудейского закона. По их представлениям, всё зависит от верховного бога и назначенной им судьбы. И хотя человеку предоставлена свобода выбора, свобода между честью и бесчестьем, вышнее предопределение в этом участвует. Души, по их толкованию, бессмертны. Но только души чистые переселяются по смерти людей в другие тела, а души нечестивцев обречены на вечные муки».

Тут сотник поднял голову, ожидая оценки. Но Имра, уткнув взгляд в свою ладонь, молчал. Тогда сотник продолжил:

– А вот о саддукеях, второй секте: «Эти совершенно отрицают судьбу и утверждают, что бог не имеет никакого влияния на человеческие деяния. Выбор между добром и злом добровольен, и каждый человек по своему собственному разумению переходит на ту или иную сторону. Точно так же они отрицают бессмертие души и всякое загробное воздаяние. Если оценивать их влияние, то оно невелико, потому что это учение распространено среди немногих лиц, притом принадлежащих только к богатым и знатным родам».

Сотник Кэмиллус снова поднял голову. Имра замешкался. Пауза затянулась. И тогда, не зная, что сказать, Имра поднял раскрытую ладонь. Ромей, конечно, отметил, что на сей раз тот поднял не правую, а левую руку, которую до того так внимательно рассматривал, но поправлять не стал, почувствовав его состояние. Они не были друзьями. Они не могли быть единомышленниками. Но они были больше чем властитель и подчинённый, и уж подавно больше чем поработоритель и раб, как относились к иудеям большинство завоевателей.



Пришёл час отправляться на доклад. В паланкин – ромей называл его лектикой – они сели внутри здания и плотно закрыли за собой створки, даже носильщики, нубийские рабы, не видели, кого несут. Путь продолжался довольно долго. Понять, куда они направляются, Имра не мог, а Кэмиллус помалкивал. Вышли они из паланкина уже внутри другого здания. Это был круглый зал, отделанный декоративными тонкой резьбы розетками, и с высоким потолком. Рабы уже исчезли. Ромей показал ему на мягкую скамью, стоящую в центре зала, и велел ждать. А сам по округлой мраморной лестнице поднялся наверх.

И тотчас с верхотуры раздался лающий голос. Таким погоняют мулов или необъезженных лошадей. Короткие, как удары меча, фразы. Негромкие ответы. И снова эти свирепые, как армейские команды, реплики. Не тот ли это меднолицый, который хлестал его бамбуковой тростью? По голосу похож. Или они все такие, эти легаты и трибуны? Другой речи у солдафонов нет и быть не может? Даже с детьми...

За годы потаённой службы у Имры обострился слух. Он слышал шевеление крота, если в потёмках был вынужден лежать на земле. Он слышал шелест древоточца, если прятался за деревом. А уж людские голоса доносились до него беспрепятственно, если они не были скрыты толстыми каменными стенами.

Здесь голосов особенно не скрывали или не очень плотно прикрыли дверь. Он всё слышал. Единственное, почему было трудно воспринимать речь – она была чересчур громкая. Этого ревущего быка- да на чтение бы кадиша, небось и в одиночку докричался бы до Сущего, вздохнул Имра и, сложив ладони, тут же покаялся в невольном богохульстве.

Из разговора было понятно, что владелец лающего голоса недоволен действиями сыскной центурии. Слишком много в Иудее хулителей. Им дали невиданные в других римских колониях права, сделали всевозможные уступки и послабления. А им всё мало. Они вольны справлять свои обряды, выбирать городских и сельских старшин, заводить школы, передвигаться в пределах колонии. А они всё недовольны. Увиливают от налогов, не хотят платить армейские подати, то в одном месте, то в другом вспыхивают бунты. Забрали солдаты по овце с семьи для своих нужд – бунт. Увели десяток амфор вина – бунт. Позабавились

с совершеннолетней девицей – бунт... А что сыскная центурия? Где здесь упреждающие меры сыскной центурии? Почему она не выявляет потенциальных бунтовщиков, почему не упреждает эти вспышки?

Голос Кэмиллуса был тише, но его ответы слышались лучше. Начальник центурии возражал и для подтверждения зачитывал сводки своего доклада. «Благодаря постоянной розыскной работе пресечены множественные попытки провоза запрещённых товаров – опия и гашиша. За последние пять лет арестованы и наказаны потребители – таковых было восемьдесят человек, у перевозчиков реквизированы в пользу империи суда числом двадцать пять, а сами они – три десятка преступников – отправлены на каторгу». «Эти-то как раз не так опасны, – донеслось в ответ – тон владлец грозного голоса чуть умерил. – Обкурятся – им ни до чего нет дела. Не так ли?!». Это, однако, не сбilo с толку сыскного сотника. Он напомнил, что той отравой охмуряют солдат, а это наносит вред боеспособности армии. И тут же продолжил: «Догляд ведётся за всеми синагогами, куда иудеи собираются на службы, – и в небольших селениях, и в Иерусалиме. Доверенные люди есть и в Храме, где верховодит Синедрион. Оттуда также постоянно поступает важная информация». Тут в доклад снова встрял властный голос, теперь он немного размяк и даже отозвался ехидной усмешкой: «Не думаю, что первосвященник Каиафа, встречаясь со мной для частных бесед, что-то скрывает от меня. Не в его это интересах. Иначе...».

Тут сотник не то чтобы возразил, но заметил, что Синедрион не может охватить вниманием и влиянием всю паству. «Там три крыла, три направления – фарисеи, саддукеи и ессеи. Храм их формально объединяет. Но Синедрион не всё ведает обо всех». Начальственный голос перебил: «Эти секты в Иерусалиме, – в паузе звучало презрение, – они вот где!» Тут в разговор, не иначе, встрял сжатый кулак. Потом последовала новая пауза, и тот кулак, видимо, ударил по столу: «А вот тайные! Что с теми, что рассеяны по колонии и ведут, как термиты, подрывную работу?! Маги всякие, колдуны, проповедники. Вот, говорят, ещё один появился – в Галилее... Известил тамошний консул». И тут вновь донёсся голос сыскного сотника: «Как раз сегодня

направляю туда своего доверенного. Он, кстати, здесь...». «Вот как?..» Тут последовало молчание, потом шаги, и вдруг...

Голос. От неожиданности Имра утянул голову в плечи, так придавил его этот голос. По тембру он не усилился. Но исходил, казалось, отовсюду – и сверху, и из этой бесконечной круглой стены, и от пола. Он будто накрывал всё пространство сетью, какой нубийские гладиаторы ловят на ристалище соперников, а потом хладнокровно поражают их пикой. Цилиндрическая форма и эти растительного орнамента резные розетки так делили-размыкали звук, что он распадался на волокна, заполняя весь зал. Имра вертел головой туда-сюда и никак не мог определить не только источник звука, но даже и направление, откуда тот исходит. Хозяина звуковой ловушки это явно забавляло. Он ронял какие-то слова, которые металась по залу, он хмыкал, наблюдая растерянность несчастного иудея, и потешался над ним, как матёрый кот потешается над придавленной мышкой.

Возвращался Имра в подавленном настроении, чувствуя себя униженным и оскорблённым. Кэмиллус безмолвствовал, понимая его чувства, да и сам был удручён начальственным приёмом. Ему, натуре иного склада, претили солдафонские замашки большинства соплеменников. Но что он, выходец из небогатого италийского рода, мог тут поделаться?! До окончания срока службы было ещё далеко. Единственным его утешением было чтение исторических да драматических сочинений, свитки которых лежали на его дальних полках, – Еврипид, Вергилий, Аристотель, Лукреций...

Когда они возвратились тем же скрытым путём в сыскную центурию, сотник первым делом смягчил настроение подопечного увесистым кошельком. По глазам понял, что это было весьма кстати – глаза у того оживились. А дальше началось обсуждение предстоящей командировки.

Порядок действий предстоял такой. Вначале его путь лежит в Иерусалим. Туда его доставят специальной крытой повозкой. На Иерусалим – неделя. Там надо напиться тамошним духом, освежив впечатления, запастись новостями, само собой посетить Храм. Остановиться лучше в гостинице. С сестрой Руфью повидаться можно, но лучше вне дома, чтобы не завязывать разговора с её мужем. А через неделю уже пешим ходом на север –

в Галилею. Там по месту. О том проповеднике много свидетельств. Значит, найти его не составит труда. Обратное – к зиме. Повод убедительный: помочь сестре, она ждёт ребёнка. Имра вскинул взгляд: действительно? Ответный взгляд был тоже безмолвным, Кэмиллус, сотник сыскной манипулы, был осведомлён лучше его, брата. Сестра Руфь, которую он удачно выдал замуж за иерусалимского сапожника, ждала третьего ребёнка.

#### 4.

Назад он вернулся в кислев – месяц ноябрь. Сперва наведался в Иерусалим. Проведал сестру, которая как раз родила. Помог ей на первых порах. А уж потом выехал в Кесарию.

Встречу сотник сыскной центурии предложил провести у него, своего посланника. Так, полагал он, тот будет чувствовать себя увереннее, оттого и отчёт будет откровеннее.

Прислуживала им молодая египтянка, которую ещё по весне Имра взял в службу: судя по столу и убранству столовой, хозяйство она вела толково.

Разговор по жесту сотника начал Имра. Слово «проповедник» он не применял. Называл исключительно «Равви», то есть учитель. Так, судя по всему, к нему и обращался. Только «Равви». При этом глаза Имры лучились восторгом. Сотник связал его взглядом с пригожей прислужницей – не тут ли причина радости? – но тот в ответ на поданное ею блюдо лишь кивнул и рассказа своего не прервал. Чем же он поразил его, этот равви?

О-о! Вокруг него собираются люди. От него исходит благодать. Он произносит простые бесхитростные слова, но перед тобой является истина. Все люди – братья и сёстры. Перед Сущим все равны. Он всех любит как своих детей. И если все обитатели Ойкумены это примут сердцем, вокруг установится мир и любовь. Не будет войн, исчезнут ложь и обман. Земля станет подлинным раем. И всем тут достанет хлеба и крова. Не будет ни бедных, ни богатых. Все будут делиться со всеми, потому что в каждом сердце поселится любовь. Слово «любовь» он произносил на все лады. Сотник вновь коснулся взглядом прислужницы, однако опять ничего не заметил – и Имра, и она держались ровно и спокойно. Имра много говорил о беседах Равви, когда вокруг собирался народ. А потом стал рассказывать о чудесах, которые он являл. Одна женщина полжизни билась в припадках,

так её донимал дьявол. Равви положил ей на голову ладонь, лихоманка утихла, бес – все видели – вылетел из неё раскалённым шершнем, и она заулыбалась, обливаясь благодарными слезами. В другом селении к Равви обратились родственники прокажённого, который жил на отшибе в ветхой лачуге. Равви не убоялся зайти к нему и через какое-то время вывел того на свет. Кожа бедолаги была чистая, как кожа новорождённого младенца. А ещё – тоже сам видел – он поднял со смертного одра девочку. Девочка двенадцати лет умерла два дня назад, в доме стоял плач и рыдания, такое было прекрасное дитя. Равви поднял её, она открыла глаза и воскресла. То-то было восторгов в доме. Вся улица собралась, чтобы порадоваться вместе с родителями. И все дружно славили Равви.

О чём ещё поведал посланец? При Равви постоянно находятся несколько доверенных – его учеников. Его, сына храмового чтеца Шимона, Равви тоже приветил, услышав, как он наизусть читает большие периоды из Святого Писания. Вначале проверил, а потом просил прилюдно произнести ту или иную главу. И всякий раз благодарно улыбался, что ученикам не надо искать в источнике. Оценили эти способности и другие его ученики, прося прочесть наизусть то или иное место в Своде. А когда узнали, что он хорошо владеет счётом, знает толк в денежных курсах, то доверили общинную казну, которая хранилась в кожаном бауле.

Сотник обратил внимание, что посланник отклоняется в тень. Свет потоком лился из створа на крыше. Солнце смещалось, меняя световой поток, и Имра отклонял свою голову, норовя уйти в тень. Лишь изредка, забываясь, вновь открывался, но при этом склонял голову, роняя на лоб свои буйные кудри.

Поведал посланец и о том, что дар творить чудо обрели некоторые ученики. Он сам видел, как один из них избавил юношу от глухоты. А другой открыл путь слепому – тот прозрел и пошёл без поводыря. «А ты?», – не преминул спросить сотник. На это Имра не ответил, замялся и покачал головой.

О возвращении из Галилеи секретного посланца было тут же доложено наверх. Там не замедлили: они оба – сотник Кэмиллус и тайный посланец Имра – были вызваны.

Всё повторилось, как в первый раз. Закрытый паланкин. Циркумпулярный зал. Путь сотника по винтовой лестнице

наверх. Однако на сей раз там стояла тишина. Голоса слышались издали, и разобрать чего-либо было невозможно. Имра даже задремал. И видимо, не услышал тихой поступи. А очнулся от голосового обвала. Опять громогласно метался тот же начальственный голос, который давил своей тяжестью. Опять повторялась та же игра в «кошки-мышки». Но! Теперь тут был уже не согбенный иудей, не «мышонок» Имра, это был вполне уверенный в себе человек, и он не согнулся под тяжестью звукового гнёта. Он встал, запрокинул голову и, отыскав в тонкой растительной резьбе – это были три колоса – силуэт человека, посмотрел ему прямо в глаза. На миг тот, видать, даже растерялся: надо же! Потом сместился по невидимой круговой анфиладе вправо и вновь подал голос. На сей раз он не давил тяжестью, а внятно произносил каждое слово, но... свистящим шёпотом. Такой звук, опадая, становился особенно зловещим и витиеватым. Но испытуемого и это не сбilo. Сквозь гипсовую паутинку орнамента он без труда находил и источник звука, и глаза того, кто изрекал эти звуки, и само собой, сознавал суть речи.

Испытание на сей раз не ошеломило Имру. Скорее тот, кто испытывал его и давил презрением и хамством на своих подчинённых, был сбит с толку и озадачен. Это потом пояснил Кэмиллус. И в подтверждение своего вывода вложил в его ладонь кольцо-печатку, которое передал владетель громобойного голоса. Этот знак давал владельцу право незамедлительно быть принятым на самом верху колониальной администрации.

Перебирая события того дня, Имра долго лежал с открытыми глазами. Даже здесь, у себя в доме, он до конца не мог избавиться от напряжения. Он не остерегался прислуги Фатимы, которая лежала рядом с ним, хотя знал, что она приставлена к нему Кэмиллусом. Он не остерегался самого Кэмиллуса и его начальства, хотя это были чужеземцы. Он остерегался... себя. Весь день он норовил отвести взгляд, скрыть в сумраке свои глаза, чтобы нечаянно не выдать то, что зародилось в его душе. Он видел Мессию. Мессию, которого ждал его отец, его мать, его родные, которого долго ждал его бедный обездоленный народ. Мессия явился. Он в Галилее. Скоро он явится в Иерусалим. И тогда... Сердце Имры охватил восторг, а глаза переполнились слезами.

Под утро ему приснился отец. Он молчал, но смотрел так ласково, так нежно, как, кажется, не смотрел даже в детстве.

\* \* \*

Все наблюдения, донесённые осведомителем, центурион сыскной службы, как полагалось, изложил в докладной записке. Здесь был подробный отчёт, анализ и выводы.

В пояснении к докладной он достойным образом отметил роль секретного агента Имры. Привёл его методы исследования и анализа, пояснил их на примерах. Единственное, что сотник обошёл вниманием – эпизод в Эммаусе, куда попутно наведалься доверенный. Это он описал в своём дневнике, где текущие заметки чередовались с выписками из Геродота или Аристотеля...

В Эммаусе жила старшая сестра Имры Эсфирь. Брату она очень обрадовалась. Эсфирь затеяла хорошее застолье и упростила мужа пригласить гостей. Исхак, муж Эсфири, коренастый, добродушный, стал зажиточным купцом-виноделом, его в городке уважали. Потому на семейный праздник собрались не только родичи мужа, а также городской глава и гаццан – старшина синагоги. Вот гаццан-то и обратился в администрацию с недоуменной запиской, которая попала в сыскную центурию.

Семейное торжество, начатое молитвами и благодарениями, шло своим достойным чередом. Чествовали хозяев, желая им дальнейшего благополучия и приплода; чествовали дальнего гостя, желая ему обрести семью и завести столько же детей, а их тут вилось ни много ни мало аж семеро. Всё было чинно и благородно. Но то ли хмельного вина оказалось больше, то ли сдержанности и деликатности меньше, но дальний гость вдруг напомнил, как неласково встретили его здесь шесть лет тому назад, когда они с младшей сестрой нуждались в помощи. Застолье притихло. Эсфирь вспыхнула, полыхнув своими чёрными очами. А Исхак, зажав свою добродушную улыбку, вышел из-за стола и больше не вернулся. Торжество скомкалось. Приглашённые родичи и горожане стали торопливо расходиться. Эсфирь повела детей укладывать. Когда застолье опустело, Исхак возвратился и велел шурина немедленно оставить его дом. Эсфирь, которая спустилась из спальни, кидала умоляющие

взгляды то на мужа – куда же на ночь-то? – то на брата – зачем ты так! – но всё было тщетно...

А на следующий день к ним нагрянули римские солдаты. Они перепугали детей, ввели в смятение хозяев и перевернули весь дом в поисках чего-то запретного. От перепугу умерла давно нехожая старуха – мать хозяина дома. Сотнику сыскной центурии не составило труда определить, какой манипулы страторы делали обыск. Декан конной стражи доложил, что к нему обратился человек по имени Имра и сообщил, что винодел из Эммауса Исхак торгует запретным зельем-гашишем.

## 5.

В конце адара, последнего холодного месяца, Имра снова был в Иерусалиме. На сей раз он по совету сотника остановился у младшей сестры. Муж Руфи, сапожник, целыми днями сидел в своей лавке, которая находилась в нижнем этаже дома, новорождённый спал, старшие дети – Сим и Хава – были тихие и послушные, и им с сестрой ничто не мешало вволю наговориться. Руфь после рождения третьего ребёнка особенно похорошела. Её широко расставленные, как и у него, брата, глаза, лучились тихим покоем.

Когда Руфь кормила дитя или готовила обед, со старшими детьми занимался он, дядя. Загадывал им загадки, рассказывал про своё детство, о том, как весело было купаться в Силоамском пруду. А однажды смастерил им колесницу. Восторгу детей не было предела. На их счастливые возгласы пришла мать.

Руфь тогда была совсем маленькая. Но, оказалось, она помнила ту игрушку, ей, едва ли не единственной, брат украдкой показывал свою поделку.

– Помню-помню, как же! – уверяла сестра. – Такая белая-белая, а колёсики блестят...

Общая память наполняет сердце сокровенным теплом, но ведь и печаль неизбежно приносит. Вспомнился дом, отец с матушкой, старшая сестра. И они, брат и сестра, обменялись грустными улыбками.

После обеда муж вернулся в лавку, а брат прилёг отдохнуть. Ему предстояло идти в Храм на службу. Узнав о его приезде, храмовники предложили ему вновь послужить в качестве подменного чтеца. Он согласился. И чтобы не мешать покою брата,



Руфь отвела старших детей в смежную комнатку, наказав не шуметь, а сама вернулась и села за шитьё.

Руфь сидела напротив лежанки, на которой спал брат, и время от времени поднимала взгляд от рукоделия – она обшивала края талита, храмовой мужской накидки, которую собиралась ему подарить.

Брат заматерел. Таким ли он был, когда они переехали в Кесарию?! Он раздался в плечах, обрёл осанку, у него густая борода, а в профиль он – вылитый отец. Она не случайно назвала новорождённого его именем. Правда, перевесила тут схожесть, память об отце, чего греха таить. Ведь у памяти не только светлые края, как и у талита.

Они тогда жили в Кесарии и сильно бедствовали. Еды в долг лавочники уже не давали. Менялы-ростовщики требовали залог, а что они могли заложить, кроме собственной одежды?! И вот наступил край. Брат взял её за руку и повёл к лавочнику, у которого несколько раз покупал лепёшки и оливковое масло. Она, Руфь, плакала, но не противилась. Она знала, зачем брат ведёт её. Он уже давал это понять. Лавочник, лысый и без двух передних зубов, прикрывал рот двумя пальцами, словно требовал молчания. Глаза его маслились. Она, Руфь, осталась с лавочником, а брат ушёл, унося корзину с едой. Только напоследок ласково поцеловал её...

Потом к лавочнику она ходила сама. А возвращалась с корзиной еды. Потом лавочник не то пресытился, не то жена подняла скандал. И тогда брат привёл к ней, сестре, двух солдат. От них пахло потом и казармой. Ромеи расплачивались своим солдатским жалованьем. А брат, оставляя её наедине с похотливыми мужланами, всегда нежно целовал её.

Брат забыл об этом или не хочет вспоминать. А она не напоминает, потому что простила его. Иудейская женщина должна почитать отца, мужа, а также и брата. А тут не просто брат – брат старший. К тому же именно он обустроил её судьбу. Брат подыскал для неё мужчину и, собрав приданое, выдал замуж. И нынешнее её благополучие – это целиком заслуга брата.

Тут Руфь вздохнула. Правда, муж ей достался суровый: не слишком разговорчивый и ласковый. Холоднокровный, говорят о таких. Ни детей приласкать, ни её, жену, приголубить. Ну,

да какой уж есть. Грех сетовать. У неё есть дом, трое детей, она порядочная мужняя женщина.

## 6.

Наступил нисан – первый месяц весны. Тайный посланец снова находился в Галилее, и однажды сотнику сыскной службы пришла с оказией от него записка. Это был клочок папируса, зашитый в женскую накидку, которую Имра просил передать попутного возчика своей домоправительнице Фатиме.

Ничего секретного в той записке не было, можно было и не скрывать. Имра сообщал, что накануне близ Генисаретского озера собралось множество народа. Люди пришли со всех окрестных селений – из Магдалы, Капернаума, Тивериады, Вифсаиды и даже Гиппоса. Все они хотели послушать проповедь Равви, словно им дано было знать, что она будет самой важной. Так и случилось. Все слушали, затаив дыхание, боясь пропустить слово. Ведь звучала сама Истина. Равви не отрицает Святое Писание, он опирается на него, но при этом обновляет многие заповеди. Главное – милосердие, закликает он, любовь и милосердие. Текст записки был написан сухим языком. Но даже и тут чувствовалось, что сердце писавшего наполнено ликованием и преданностью.

Центурион Кэмиллус в докладной записке префекту эмоций избежал, сухо передав все имеющиеся в его распоряжении сведения о галилейском проповеднике. А в конце сделал вывод. Эта община и её наставник безопасны как для администрации колонии, так и для Римской империи в целом.

\* \* \*

Приближался Песах – главный праздник иудеев. В Иерусалим стекался народ. На всякий случай римский префект усилил гарнизон. С воинской командой в крытой повозке сюда приехал сотник сыскной центурии. А следом пожаловал и префект.

Воздух в Иерусалиме был полон ожиданием чуда. Здесь и там на все лады повторялось слово «Мессия». Одни произносили его с недоверием, другие с восторгом, третьи с осуждением. К последним относилась верхушка Храма – Синедрион.

Сотник был в гражданской одежде, но в толпу не стремился, чтобы не испытывать судьбу. Кавалькаду у Золотых ворот он видел издалека. Было множество ярких накидок, цветов и оливковых ветвей, которые закрывали лица. Даже своего посланца сотник не разглядел.

С Имрой они встретились на другой день, да и то накоротке. Тому надо было находиться близ Равви. Он – чтец, а главное – казначей, сейчас много хлопот по устройству праздника для Равви и его ближнего круга. Имра был озабочен. Но Кэмиллусу показалось, что того прежнего ликования, которое он так упорно прятал осенью, в его глазах поубавилось. Появилась не то чтобы новая озабоченность, а будто какое-то непонятное недоумение, а может, и несогласие. С кем, с чем – ответа не было. Но прозвучала одна фраза: речь шла о чрезмерных и не очень важных тратах. Зачем община в таком количестве закупила благовонное миро, зачем оно так быстро потрачено, когда следовало озаботиться другим... Фразу Имра оборвал на полуслове, но по острому блеску в его глазах Кэмиллус вдруг увидел, что мира там нет. Там не было ни мира, ни милосердия, ни любви – только один кинжальный блеск.

Дальнейшие события это подтвердили. Однако изменить их ход никто был уже не в силах.

Всё стряслось в пятницу. Неправый суд – по сути, судилище. Крестный путь. Голгофа.

Сотник сыскной центурии обязан был дать обо всех событиях минувших дней полный отчёт. Доклад им был написан и в одном экземпляре отправлен наверх.

А ещё он сделал несколько записей в своём дневнике. Они шли следом за строфой Овидия:

*Всё до последней строки, что прочтёшь ты в книжечке этой,  
Всё написано мной в трудных тревогах пути.  
Видела Адрия нас, когда средь открытого моря  
Я в ледяном декабре дрог до костей и писал;  
После, когда, покинув Коринф, двух морей средостенье,  
Переменял я корабль, дальше в изгнание спеша,  
Верно, дивились на нас в Эгейских водах Киклады:  
«Кто там под свист и вой в бурю слагает стихи?»»*

Эти записи были открыты уже после смерти сотника.

\* \* \*

«Душа чтеца и казначея апостольской общины была не на месте. Он так берёт каждый сестерций, каждый секель общинной казны, что даже почти ничего не присваивал, разве только самую малость. И когда Равви накормил пятью хлебами пять тысяч паломников, он восхитился не столько чудом, сколько экономией общинной казны. Ведь казна понадобится в ближайшие дни, когда Равви-Мессия поведёт обездоленных и униженных иудеев на битву. Понадобится много оружия – мечей и копий – казна в кожаном бауле придётся как нельзя кстати.

Он безоглядно верил, что так и будет, что вот-вот прозвучит команда, заветный знак... Вот-вот... Потому на сокровенной вечере в канун Песаха, где собрались двенадцать ближних учеников, он потерял голову. Он-то, как большинство иудеев, думал, что Мессия пришёл спасать их, детей Моисеевых и Давидовых, что он их освободитель, что любовь и милосердие предназначены только им, страдальцам. А оказывается, он пришёл для всеобщего мира и любви, и он не возьмёт в руки меч и не станет их полководцем-воителем.

Третьего дня Имра ночевал в доме сестры. За ужином они выпили. Но не вино горячило ему кровь. Он пылал предчувствиями великих перемен. Когда Руфь, уложив детей и постелив мужу, вернулась, чтобы пожелать ему спокойной ночи, он задержал её. Ему не терпелось поделиться с кем-то своей радостью. Грядут великие перемены. Ромеи скоро уйдут из Иудеи. Здесь будет править Мессия. И он, один из двенадцати избранных, встанет рядом с ним. О, сколь тогда произойдёт чудес! Он, сын праведного, но обездоленного Шимона, сам обманутый и обездоленный, займёт в Храме почётное место. Он станет одним из первосвященников, членов Сенидриона, может, даже и главой Сенидриона вместо Каиафы, если, конечно, сам Равви не пожелает занять этот стол. А Каиафа будет ползать в ногах, умоляя оставить его хотя бы «карриотом» – подменным чтецом. Усмешка играла на его губах, ровно язвительная змейка. Он вспомнил отца, однажды потерявшего место. Только изредка, по праздникам, когда служба в Храме шла долго,

его приглашали на подмену. Эта перемена послужила поводом для дальнейших насмешек злоязычных сверстников. Слово «карриот», означавшего подменного чтеца, они наложили на слово «саккара» – рыжий и стали за глаза, а потом и в глаза дразнить его, сына Шимона, «Саккариотом», что по их раскладу, означало рыжий сменщик. «Саккариот, саккариот», – неслоь отовсюду. Он помнил это. Он ничего не забыл, ожидая своего часа.

И вот спустя три дня всё переменялось. Всего три дня. Произошёл крах надежд и упований, его охватило смятение, а потом и отчаяние. Отчаяние было столь велико, что он потерял голову. Качаясь и бормоча что-то невнятное, он покинул вечернюю трапезу и вышел вон. Напрочь забыв наставления Равви, все заповеди, все благие помыслы и клятвы, он открыл рот, чтобы выразить свой протест в небо, и тут в его открытый рот влетел бес. Бес давно караулил его, точнее с тех пор, как вылетел волею Мессии из утробы бесноватой женщины. Он сразу определил свою новую жертву, потому что от этого человека веяло потаённым хладом. Доглядывая за ним, он вёл счёт его прегрешениям. Двuruшничество, предательство, обман – чего только не было в этой охладелой душе. Здесь бесу было вольготно и сладостно охлаждать свои раскалённые перепонки. Бес влетел. И тотчас произошло сокрушение. Голову греховника охватил жар, сердце вновь остановилось, как когда-то, следом заледенело, а потом снова застучало, только иначе. Холодное сердце привело его в Храм, где заседали первосвященники: Каиафа, Анна, другие верховники, которые ничего не сделали, чтобы в горькую минуту поддержать его, сына храмового чтеца Шимона. И именно им он выдал того, пред кем преклонялся, донеся, где находится столь ненавистный им смутьян и попиратель древних догматов. А потом призвал караульных воинов, предъявив им знак префекта Иудеи, чтобы те арестовали мятежника.

Он видел, как меченосцы уводили арестанта. После этого силы покинули его. Он лёг под смоковницей в Гефсиманском саду и мгновенно уснул. Приснился ему отец. Только на сей раз отец не улыбался, а смотрел с ужасом и отвращением. И оттуда, из засмертного края, явственно доносился отцовский голос:

«Крэв лэ хала!» – «Сгинь! Изыди!». ...Проснулся он в холодном поту. С трудом поднялся на ноги и принялся развязывать пояс. Тут его вырвало, согнув в три погибели. Вместе с рвотой вылетел, жужжа и хохоча, мохнатый бес»...

\* \* \*

В пятницу Иерусалим среди бела дня накрыл мрак. Казалось, наступил конец света. Толпы народа, возвращавшиеся с лобного места, обезумели, разбегаясь по домам. Метались факелы, сыпались искры, то здесь, то там огонь перебежал на постройки. Это ещё больше распаяло толпу, доведя накал до неистового ужаса.

Руфь, схватив свечу, утащила детей в тёмный чулан, чтобы как-то отгородиться от этого безумия. Дети от страха даже не плакали, а лишь дрожали, прижимаясь к матери. Она их гладила и что-то шептала. Дети, напуганные общим смятением, один за другим забылись. Уснул и самый маленький, названный в честь брата. А ей не спалось.

Спустя время Руфь выглянула за двери. Давешний мрак, который обстал всё вокруг среди бела дня, кажется, рассеялся, наступила обычная ночь. Людское помрачение тоже улеглось, но страх, похоже, не прошёл, столь непривычной и гулкой была тишина. Ни голосов, ни бряцания доспехов караульных. Даже собаки оцепенели. Только полная луна, как обронённый серебряник, продолжала, как ни в чём не бывало, свой путь, да звёзды мерцали тяжёлыми гроздьями.

Руфь прислушалась, не идёт ли кто. Никого... Куда-то, не сказавшись, ещё в полдень ушёл муж. «**Агасфер!** – окликала она его. – **Агасфер!**». А он даже не обернулся. Обещал навеститься брат. Но **Иуда** – увы – тоже где-то запропастился...

\* \* \*

В эту ночь не спал и **Варавва**, разбойник, которого иудейская толпа потребовала отпустить, приговорив к распятию Христа. Глотнув нечаемой свободы, он уже захмелел, успел похитить нож и даже применил его, но неудачно, и сейчас, остерегаясь погони, спешил до свету покинуть город. Он пробирался через Гефсиманский сад и тут в кустах неожиданно наткнулся

на повешенного. Страх он никогда не испытывал и сейчас тоже. Была брезгливость и трезвое сознание: что можно взять с самоубийцы?! И всё-таки остановился, обрезал удавку – это был ветхий пояс – и ощупал ещё не остывший труп. В потае кетонета обнаружил кольцо. Это был перстень-печатка, на котором при лунном свете чётко читалось имя префекта Иудеи – «Пилат». «Медяшка», – оценил находку Варавва и швырнул кольцо далеко в кусты\*.

Пальцы пробежали по поясу. В конце что-то было зашито. Распорол ногтем, даже не прибегая к ножу. На ладони оказалась монета – это была самая мелкая монета «обол», которая к тому же, кажется, уже вышла из обращения. «Такие принимает только Харон», – вспомнил он персонажа загробного мира. Положил монету на вывалившийся язык, язык загнул внутрь, а нижнюю челюсть подбил: «Плыви». И хмыкнул.

\* \* \*

Сотник сыскной центурии Кэмиллус через три года после описанных событий тайно крестился и в 49 году н. э. участвовал в первом (Апостольском) соборе Христианской церкви, ставшем прообразом Вселенских соборов.

г. Архангельск

---

\* Оно так далеко улетело, что отыскалось только спустя почти две тысячи лет, точнее в 1960 году.